Ведьма из Сызрани

Верховная

История о прощании, о старой дружбе и о том, что хмурые брови бывают не от злости.



Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Верховная

«Автор»
2026

Панова М.

Ведьма из Сызрани. Верховная / М. Панова — «Автор», 2026

Декабрь 2032 года. Евдокии Марковне, Верховной ведьме, сто шестнадцать лет, и она зовёт Василису в Москву: «Девочку привези. Времени у меня до Нового года, я посчитала». Своё место она хочет передать четырёхлетней Гаше, которая хмурится точь-в-точь как она. Василиса не согласна отдавать детство дочери ни за какие титулы.В старой квартире на Шаболовке, с видом на Шуховскую башню, сталкиваются две упрямые женщины, а между ними маленькая третья. Из Казани приезжает Римма Гареевна, у которой с Евдокией шестьдесят лет старых счётов. Сфинкс Луи едет в Бирюлёво, к гаражам, где его когда-то продавали, и находит там свою слепую мать. А кот Модест впервые в жизни спускается в московское метро.Это история о прощании, о старой дружбе и о том, что хмурые брови бывают не от злости.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Поезд «Жигули» 6
Глава 2. Шаболовка 9
Глава 3. Гаражи у Липецкой 13
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Милана Панова
Ведьма из Сызрани. Верховная

Ведьма из Сызрани. Верховная

Серия «Ведьма из Сызрани». Книга пятнадцатая

Глава 1. Поезд «Жигули»

Звонок раздался четырнадцатого декабря, в половине седьмого утра, когда Василиса стояла у плиты и пыталась одновременно сварить кашу, найти Алёшину вторую варежку и не наступить на злыдня, который спал поперёк кухни, как маленький серый коврик.

Номер был московский. Незнакомый.

— Василиса Андреевна? — Голос женский, немолодой, с хрипотцой курильщицы, бросившей лет двадцать назад. — Это Тамара. Соседка Евдокии Марковны. С «Жигулями», если помните.

Василиса помнила. Тамара Фёдоровна возила Верховную на дребезжащей вишнёвой «пятёрке» по всему Поволжью — на свадьбу, на крестины, на телевидение — и ни разу не превысила шестидесяти километров в час, потому что «у меня пассажир старше этой машины в четыре раза».

— Она просила вам позвонить, — сказала Тамара. — Сама не может, у неё голос сел. Велела передать дословно, я записала, сейчас. — Зашуршала бумага. — «Васёна. Приезжай. Девочку привези. Мальчика тоже можно. Кота — обязательно. Времени у меня до Нового года, я посчитала». Всё.

Каша зашипела и полезла через край. Василиса сняла кастрюлю с огня, не глядя.

— Тамара Фёдоровна. Что с ней?

На том конце долго молчали.

— Ничего, — сказала наконец Тамара. — В том-то и дело, что ничего. Врач приходил в понедельник, послушал, сказал — для ста шестнадцати лет сердце как у сорокалетней. А она на него посмотрела вот этим своим взглядом и говорит: «Молодой человек, сердце тут ни при чём. Я просто закончилась». — Тамара шмыгнула носом. — Она с прошлой недели не встаёт. Ест, разговаривает, черепаху свою кормит, газеты требует. А встать — не встаёт. Говорит — незачем, всё нужное ко мне само придёт.

— Я приеду, — сказала Василиса.

— Я знаю, — ответила Тамара. — Она так и сказала: «Приедет, куда денется».

Егор выслушал всё за завтраком и сказал ровно то, что Василиса ожидала: отпуск ему не дадут, потому что в декабре участковому отпуск не дают никогда, тем более в Сызрани, где перед Новым годом каждый второй гражданин решает отношения с соседом через забор. Поэтому он остаётся, а она едет, и это правильно.

— Только вот что, — сказал он, вытирая губы тыльной стороной ладони. — Ты, когда вернёшься, расскажи мне всё. Не как обычно — «ну там было кое-что, потом объясню». А всё.

— Я всегда тебе всё рассказываю.

Егор посмотрел на неё поверх кружки так, как смотрел на граждан, которые уверяли, что корова сама зашла в чужой огород.

— Хорошо, — сдалась Василиса. — В этот раз — всё.

Сборы заняли два дня и выявили неожиданное.

Во-первых, Луи тоже ехал. Об этом заявила Инесса, которая позвонила из Подгорного в тот же вечер и сказала, что Луи с утра сидит у входной двери на чемодане, а когда она пытается его оттуда снять, говорит одно слово: «Moscou». Чемодан, к слову, был её, но Луи считал иначе.

— Ему же туда нельзя, — растерялась Инесса. — Он оттуда. Ему там будет плохо.

Модест, слушавший разговор по громкой связи, хмыкнул с печки.

— Ему везде плохо, где холодно. А в Москве холодно. Значит, он едет не за удовольствием. — Кот помолчал. — Скажи ей, пусть берёт его. Он знает, зачем.

Во-вторых, Фрол Евсеич наотрез отказался оставаться без присмотра. Не в том смысле, что за ним надо присматривать, — тут он оскорбился бы смертельно, — а в том, что дом без

хозяйки, по его словам, «стоит, как вдова на поминках». Сошлись на том, что остаются Устя, которой в Москве делать было нечего, и Никита, которому делать было нечего в школе, потому что начались каникулы. Ирина Тарасова поставила одно условие: чтобы в одиннадцать вечера сын был дома. Никита резонно заметил, что дом Шмелёвых и есть его дом на эти две недели. Ирина подумала и согласилась, но попросила, чтобы Устя звонила ей в одиннадцать и говорила, что он на месте. Устя, которая по телефону не разговаривала никогда и ни с кем, кивнула.

В-третьих, злыдень. Гаша объявила, что без него не поедет, а злыдень объявил своим единственным словом, что мало: мало места, мало еды, мало причин куда-то ехать. Спор продолжался до вечера, пока Алёша не сказал, глядя на обоих, что Москва большая и там, наверное, много всего. Злыдень замолчал, подумал и забрался к Гаше в рюкзак, где и просидел всю дорогу.

Поезд назывался «Жигули» и уходил с сызранского вокзала в двадцать один сорок.

Купе было четырёхместное. Василиса взяла его целиком — не из роскоши, а потому что не представляла, как объяснит случайному соседу, почему черный кот смотрит на него с верхней полки так, будто составляет протокол.

Проводница, крупная женщина лет пятидесяти с бейджем «Светлана», проверила билеты, посчитала по головам детей, кота, сфинкса в вязаном свитере, рюкзак, из которого торчал серый нос, и ничего не сказала. Только когда уже уходила, задержалась в дверях.

— У меня бабка в Батраках, — сказала она без всякой связи. — Девяносто один год. Она говорит, в Сызрани ведьма есть. Молодая. С котом. — Светлана поглядела на Модеста. Модест поглядел на Светлану. — Чай будете? С лимоном? Я вам принесу. Бесплатно.

Чай она принесла в подстаканниках, настоящих, железных, с выбитым на боку паровозом, и ещё блюдечко сливок, которое поставила на столик со словами: «Это — для старшего».

Модест не спросил, кого она имела в виду. Но сливки съел.

Дети уснули сразу, как только поезд тронулся: Гаша на нижней полке, раскинувшись звездой, Алёша на соседней, свернувшись калачиком и положив руку на холодную стенку купе. Луи пристроился у Инессы под пледом, и через минуту оттуда донеслось тарахтение, похожее на старый холодильник. Инесса спала сидя, с вязанием в руках.

Василиса не спала.

Сидела у окна, смотрела, как мимо летят тёмные полустанки, редкие фонари, белые поля, по которым скользил свет из вагонных окон. Где-то за Октябрьском поезд долго стоял, пропуская товарняк, и в тишине было слышно, как поскрипывает вагон и кто-то в соседнем купе разговаривает по телефону вполголоса.

Модест спустился с верхней полки и сел рядом с ней на столик.

— Ты думаешь, она правда уходит? — спросила Василиса.

Кот долго смотрел в окно.

— Она никогда не врала, — сказал он наконец. — Ни разу за все годы, что я её знаю. Это было её самое неприятное качество. Агафья говорила: «С Евдокией хорошо советоваться и невозможно жить». — Он помолчал. — Если она сказала «до Нового года», значит, посчитала. Она всегда считала. Даже когда в тридцать восьмом году приезжала к Агафьиной матери за травами и торговалась за каждый пучок, потому что, мол, деньги — это тоже чья-то работа и нечего ими швыряться.

— Ты её давно знаешь.

— С двадцать девятого. Тысяча девятьсот двадцать девятого, — уточнил Модест. — Ей было тринадцать. Её привела в Сызрань учительница. Старая. Злая, как оса. Евдокия рядом с ней стояла и хмурилась. Вот так, как Гаша. — Он кивнул на спящую девочку. — Я тогда подумал: эта вырастет — всем покажет. И не ошибся.

Поезд дёрнулся и поехал дальше.

— Зачем ей Гаша? — тихо спросила Василиса.

Модест не ответил. Посмотрел на Гашу, которая во сне сердито морщила лоб, будто и там с кем-то спорила. Потом на Алёшу, который во сне улыбался. Потом на Василису.

— Ты знаешь, зачем, — сказал он. — Ты просто не хочешь знать. Это разное.

Василиса отвернулась к окну.

За стеклом начинался рассвет — серый, неуверенный, московский. Поля сменились дачными посёлками, дачные посёлки — бетонными заборами, бетонные заборы — гаражами, многоэтажками, проводами. Город наползал медленно, со всех сторон, как прилив.

Луи высунул голову из-под пледа. Посмотрел в окно. Долго.

Потом, не говоря ни слова, полез обратно, но не спать, а глубже, к самому Инессиному боку. И оттуда Василиса услышала тихое, почти неслышное, совсем не похожее на его обычное французское кокетство:

— Я помню этот запах.

Поезд «Жигули» прибыл на Казанский вокзал в одиннадцать двадцать по московскому времени, с опозданием на семь минут, что проводница Светлана объявила как личное оскорбление.

Глава 2. Шаболовка

Евдокия Марковна жила на Шаболовке, в доме тридцать седьмого года постройки, серо-жёлтом, с высокими окнами и лепниной, которая осыпалась с карнизов уже лет сорок и никак не могла осыпаться до конца. Лифт был старый, с решётчатой дверью, которую нужно было закрывать вручную, иначе он обижался и не ехал. Тамара Фёдоровна встретила их на первом этаже, в пуховике поверх халата, и первым делом сказала:

— Котов в лифт не берите. Он котов не любит. Застрянете.

Модест посмотрел на лифт. Лифт, Василиса могла бы поклясться, посмотрел на Модеста.

Пошли пешком. На пятый этаж. Гаша скакала через ступеньку, Алёша шёл медленно и трогал перила, будто здоровался, Инесса несла Луи и задыхалась, Модест шёл первым — молча, распушив хвост, как на параде.

Квартира была огромная. Василиса такого не ожидала. Длинный коридор, уходящий в полутьму, вдоль стен — книжные полки до потолка, на полках — книги, папки, коробки из-под обуви с надписями от руки: «Письма 1941–1945», «Самара, разное», «Агафья», «НЕ ТРОГАТЬ». Пахло старой бумагой, сушёной мятой, валокордином и чем-то сладким, вроде печёных яблок.

— Пять комнат, — сказала Тамара, перехватив её взгляд. — Её отцу дали. Он метро строил, первую линию. Потом его забрали, в тридцать восьмом. А квартиру — не забрали. — Она пожала плечами. — Евдокия Марковна говорит, это потому что она тогда на всех, кто приходил, так смотрела, что они бумаги путали. Три раза ордер на выселение выписывали — три раза адрес не тот.

Евдокия Марковна лежала в дальней комнате.

На широкой деревянной кровати с резными шишечками, у окна, выходившего на Шуховскую башню. Башня стояла за окном — ажурная, серая, похожая на гигантскую плетёную корзину, поставленную вверх дном, — и в сером декабрьском свете казалась совсем близкой, протяни руку.

Сама Евдокия Марковна оказалась меньше, чем Василиса помнила. Как будто за год, что они не виделись, кто-то аккуратно убрал из неё лишнее, оставив только самое главное: острый нос, глубокие складки у рта, белые волосы, заплетённые в тонкую косу, и глаза. Глаза не изменились нисколько. Чёрные, внимательные, насмешливые, под густыми седыми бровями, которые сейчас, при виде гостей, сошлись над переносицей в знакомую складку.

На одеяле у неё лежала черепаха. Аполлинарий. Он спал, втянув голову, и был похож на камень, который кто-то зачем-то принёс в постель.

— Явилась, — сказала Евдокия Марковна. Голос у неё действительно сел, но не стал от этого тише — просто стал похож на шорох старой бумаги. — Я думала, к вечеру будешь. Поезд, что ли, раньше пришёл?

— Опоздал на семь минут.

— Значит, это я рано проснулась. — Верховная перевела взгляд на детей, застывших в дверях. — А ну иди сюда. Ты. Которая хмурится.

Гаша не двинулась с места. Только нахмурилась ещё сильнее.

Евдокия Марковна смотрела на неё. Гаша смотрела на Евдокию Марковну. Две пары одинаковых бровей, одна седая, другая тёмная, сведённых одинаковым упрямым движением. Тамара Фёдоровна у Василисы за спиной тихонько охнула.

— Не пойду, — сказала Гаша.

— Почему?

— Потому что вы командуете.

Евдокия Марковна помолчала. Потом её лицо сморщилось — всё, сразу, сотней мелких складок, — и Василиса не сразу поняла, что это смех. Беззвучный, сотрясающий одеяло, от которого проснулся и высунул голову Аполлинарий.

— Правильно, — выговорила наконец Верховная, вытирая глаза краем пододеяльника. — Правильно. Не ходи к тем, кто командует. Сами придут. — Она махнула рукой. — Ладно. Тогда ты иди. Молчаливый.

Алёша подошёл сразу. Встал у кровати. Посмотрел на черепаху.

— Это Аполлинарий, — сказала Евдокия Марковна. — Ему сто сорок лет. Он старше меня. Он мне от учительницы достался, а ей — от её учительницы. Его надо кормить одуванчиками, а зимой — тёртой морковкой. Запомнишь?

— Запомню, — сказал Алёша.

— Ну вот. — Она откинулась на подушку, будто сделала важное дело. — А теперь все вон. Кроме неё. — Палец, тонкий, узловатый, как корень, указал на Василису. — И кроме кота. Кот пусть останется. Он мне в двадцать девятом году на ногу наступил, я ему до сих пор не простила.

— Я не наступал, — сказал Модест.

— Наступал. На левую. В Агафьиных сенях.

— Это была не нога, а валенок.

— В валенке была нога.

Тамара увела детей на кухню кормить. Инесса пошла следом, держа Луи, который за всё это время не произнёс ни слова и смотрел в окно, на московские крыши, остановившимся взглядом.

Дверь закрылась.

Евдокия Марковна долго лежала молча, глядя в потолок. Василиса села на стул у кровати. Модест запрыгнул на подоконник и устроился так, чтобы видеть обеих.

— Тамара тебе передала, — сказала наконец Верховная. Не спросила.

— Передала. До Нового года.

— До Нового года, — подтвердила Евдокия Марковна. — Может, до первого. Как получится. Я не жадная. — Она повернула голову на подушке. — Ты, Васёна, не делай такое лицо. Мне сто шестнадцать лет. Я пережила царя, нэп, троих мужей, войну, эвакуацию, оттепель, перестройку, дефолт, три пандемии и одну попытку меня ограбить в две тысячи четвёртом году, после которой грабитель сам вызвал милицию и попросился в камеру. Я устала, деточка. Это не трагедия. Это — нормально.

Василиса молчала.

— Мне нужно передать, — сказала Евдокия Марковна. — Ты знаешь что.

— Знаю.

— Нет, не знаешь. — Она чуть приподнялась на локте, и Василиса увидела, каких усилий ей это стоит. — Все думают, Верховная — это начальница. Председательница. Римма вон в своём совете ведающих — председательница, ей нравится. Подписи, печати, протоколы. — Верховная поморщилась. — Это не то. Верховная — это та, кто держит. Не узел. Узлов у каждой из вас — по своему городу. Я держу — вас. Всех. Двенадцать тысяч по Волге, ещё столько же по остальной России, ещё немножко в Казахстане и одна сумасшедшая в Лиссабоне. Каждую ниточку от каждой ведьмы — сюда. — Она положила руку на грудь. — Я их чувствую. Кто заболел, кто влюбился, кто не справляется, кто вот-вот натворит глупостей. Когда надо — дёргаю. Когда надо — отпускаю. Девяносто лет.

— И вы хотите передать это Гаше.

— Я хочу передать это Гаше, — спокойно сказала Евдокия Марковна.

— Ей четыре года.

— Мне было тринадцать, когда моя учительница меня выбрала. А знала она с того дня, как я родилась. — Евдокия откинулась на подушку. — Ты видела её брови.

— Брови — это не…

— Брови — это всё, — перебила Верховная. — Ты думаешь, это просто так? Что девочка хмурится, как я? — Она усмехнулась. — Деточка. Это знак. Так передаётся. Не через кровь — через взгляд. Моя учительница хмурилась так же. И её учительница. Двести лет одна и та же складка над переносицей. — Она помолчала. — Твоя дочь родилась с моим лицом. Я увидела фотографию у Агафьиной внучки в телефоне — у тебя, то есть, — когда ей было три дня. И села. Я тогда двадцать лет не садилась от удивления.

Модест на подоконнике тихо сказал:

— Она правда села. Мне Тамара рассказывала. Прямо на пол в прихожей.

Василиса встала. Подошла к окну. Шуховская башня за стеклом была серой и неподвижной.

— Нет, — сказала она.

— Что — нет?

— Нет. — Василиса обернулась. — Я не дам. Она маленькая. Она хочет торт с котами, качели и чтобы злыдень ел кашу. Она не будет держать двадцать четыре тысячи ведьм и одну сумасшедшую в Лиссабоне. Не в четыре года. Не в десять. Не…

— А когда?

Вопрос был задан тихо, но Василиса осеклась.

Евдокия Марковна смотрела на неё — внимательно, без насмешки.

— Когда, Васёна? В восемнадцать? В тридцать? Когда ты решишь, что она готова? — Верховная покачала головой на подушке. — А я — не доживу. Я до первого января. Кто будет держать, пока ты решаешь? Римма?

— Хоть бы и Римма.

— Римма хорошая ведьма. И плохая Верховная. Она держит крепко. Слишком крепко. Она за шестьдесят лет ни одной ниточки не отпустила, даже тех, которые надо. — Евдокия Марковна закрыла глаза. — Я её учила. Я знаю.

Тишина. Где-то на кухне засмеялась Гаша, и смех её, звонкий, нахальный, пробежал по длинному коридору, по книжным полкам, мимо коробок с письмами, и влетел в комнату.

Евдокия Марковна открыла глаза. Посмотрела на дверь.

— Слышишь? — спросила она. — Вот так и я смеялась. В тысяча девятьсот двадцатом. Когда ещё никто не знал. — Она помолчала. — Потом узнали. И я перестала. Надолго.

— Вот поэтому, — сказала Василиса. — Поэтому — нет.

Верховная долго смотрела на неё.

— Упрямая, — сказала наконец. Не осуждающе — с каким-то даже удовольствием. — Агафья тоже была упрямая. Я её в пятьдесят шестом на курсы звала — в Москву, на год. Она сказала: «Не поеду, у меня Модест без меня скиснет и огурцы перекиснут». — Евдокия Марковна фыркнула. — Огурцы! А ведь могла бы стать Верховной вместо меня. Я её хотела.

Модест на подоконнике замер.

— Ты не говорила, — сказал он.

— Тебе — не говорила. Ей — говорила. — Верховная пожала плечами под одеялом. — Она отказалась. Сказала: моё место — в Сызрани. И была права. — Она посмотрела на Василису. — Ты, деточка, хотя бы до Нового года здесь поживёшь? Подумаешь?

— Поживу, — сказала Василиса. — Но думать не о чем.

— Думать всегда есть о чём, — сказала Евдокия Марковна и закрыла глаза. — Иди. Покорми детей. Аполлинария тоже покорми, морковка в холодильнике, тёртая, Тамара с утра натёрла. А я посплю.

Василиса пошла к двери. Модест спрыгнул с подоконника и пошёл за ней.

— Кот, — сказала Верховная, не открывая глаз.

Модест остановился.

— Ты на ногу всё-таки наступил, — сказала она. — Я помню. Но я тебя простила. Ещё в тридцатом. Просто не говорила. — Пауза была короткой, но в неё поместилось почти сто лет. — Надо было сказать. Говорю.

Модест постоял у двери. Потом вернулся. Запрыгнул на кровать — неловко, задев Аполлинария, который возмущённо втянул голову, — и лёг рядом со старухой, привалившись тёплым боком к её руке.

Василиса тихо вышла и закрыла дверь.

Глава 3. Гаражи у Липецкой

Луи заговорил на третий день.

До этого он молчал. Ел — немного, без обычного «c'est magnifique». Спал у батареи в коридоре, завернувшись в свою половину шубы. Смотрел в окно. Инесса извелась: щупала ему нос, мерила температуру, звонила ветеринару в Подгорное, который сказал, что сфинксы бывают меланхоличны, особенно в декабре, и посоветовал витамины.

На третий день, утром, Луи пришёл на кухню, где Василиса чистила картошку, сел перед ней на пол и сказал:

— Отвезите меня.

— Куда?

— Липецкая улица. Гаражи. За школой. — Он говорил по-русски, без единого французского слова, ровно, как читают адрес с конверта. — Там была коробка. Под третьим гаражом от угла. Синий. С ржавой дверью.

Инесса уронила чашку.

Поехали после обеда. Тамара Фёдоровна осталась с детьми и Евдокией Марковной, сказав, что с одной сто шестнадцатилетней и двумя четырёхлетними справится, потому что сорок лет проработала в детском саду и ещё двадцать — у Евдокии, и разницы, по её словам, почти никакой.

Модест поехал с ними. Сам, без приглашения: просто залез в Инессину сумку, когда она её застёгивала, и сказал оттуда, что кому-то в этой компании нужно сохранять трезвый взгляд на вещи.

Ехали долго. Метро до «Царицыно», потом автобус. Бирюлёво оказалось бесконечным: одинаковые серые дома, одинаковые дворы с одинаковыми детскими площадками, засыпанные одинаковым грязным снегом. Луи сидел у Инессы на коленях в автобусе, высунув голову из-под шарфа, и смотрел в окно не отрываясь. На остановке «Школа» он сказал «здесь» за секунду до того, как водитель её объявил.

Гаражи стояли за школой, в низине, длинным рядом — кирпичные, железные, ржавые, покосившиеся, с номерами, нарисованными краской, с замками всех размеров. Половина выглядела заброшенной. Между ними росли голые кусты, торчали из снега обломки ящиков, валялись покрышки.

Третий от угла был синим. Когда-то. Сейчас краска облезла настолько, что синего осталось на ладонь, под самой крышей. Дверь — ржавая. Под дверью — щель. Сантиметров десять. Тёмная.

Луи спрыгнул с Инессиных рук на снег.

Он не носил сапожек. Забыл. Снег обжёг его голые лапы, и он поджал одну, потом другую, но не вернулся. Подошёл к двери. Сел перед щелью. Долго нюхал воздух.

Василиса повернула ручку настройки — и тут же отвела взгляд, потому что от Луи к этой щели тянулось что-то, что было больно видеть. Не нитка даже. Обрывок. Короткий, серый, лохматый, как шерсть, которой у Луи никогда не было. Оборванный тринадцать лет назад и с тех пор так и висевший, ни к чему не привязанный.

— Здесь, — сказал Луи. — Нас было пятеро. Мама лежала вот тут, — он показал лапой на снег у стены, — на тряпке. Тряпка была красная. Мама была серая. Пушистая. — Он помолчал. — Мы были лысые. Она нас облизывала и не понимала, почему у нас нет шерсти. Облизывала, облизывала. Потом перестала.

Инесса стояла за его спиной и плакала, не вытирая слёз.

— Потом пришла женщина, — продолжал Луи. — Сфотографировала нас на телефон. Сказала маме: «Ну что, Зефирка, опять лысые? Ну ничего, продам». — Он поднял голову. — Маму звали Зефирка. Я забыл. А сейчас вспомнил.

За гаражом что-то зашуршало.

Из-за угла вышла женщина. Невысокая, в мужском ватнике поверх халата, в резиновых сапогах, с пятилитровой бутылью воды в одной руке и пакетом в другой. Лет семидесяти. Лицо — красное, обветренное, с мешками под глазами. Седые волосы, выбившиеся из-под вязаной шапки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.